

Великіе кануны.

Теорія познанія, какъ апологетика.

Современная теорія познанія, хотя она всегда сознательно ведетъ свое происхожденіе отъ Канта, въ одномъ отношеніи совершенно измѣнила завѣту своего учителя. И такъ странне—гносеологи, которые обыкновенно почти ни въ чемъ не могутъ спориться межъ собой—какъ будто утѣрились самое задачу теоріи познанія понимать иначе, чѣмъ Кантъ. Кантъ предпринялъ пересмотръ нашихъ познавательныхъ способностей въ цѣли объясненія познанія. Это же послѣднее ему понадобилось для того, чтобы установить основанія, въ силу которыхъ одні изъ существующихъ наукъ можно признать, другія же—нужно отвергнуть. Въ сущности, если угодно, преимущественно ради второй цѣли. Скептицизмъ Юма безпокоилъ его только теоретически. Онъ впередъ зналъ, что какую бы теорію познанія онъ ни выдумалъ, математика и естественныя науки останутся науками, метафизика же будетъ отвергнута. Иначе говоря, онъ задавался цѣлью не оправдать науку, а объяснить возможность ея существованія,—онъ же и исходилъ изъ того, что въ математическихъ и естественно-научныхъ истинахъ никто серьезно сомнѣваться не можетъ. Сейчас же дѣло обстоитъ иначе. Гносеологія всѣ свои усилія направляетъ къ тому, чтобы оправдать научное знаніе. Для чего? Наука научное знаніе нуждается въ оправданіи? Правда, есть такіе чудаки, иногда и гениальные чудаки, вроде нашего Толстого, которые нападаютъ на науку, но ихъ нападки никого не обижаютъ и не тревожатъ.

Ученые попрежнему продолжаютъ свои изслѣдованія, университеты процвѣтаютъ, открытія слѣдуютъ за открытіями. А гносеологи все же досыпаютъ ночей, подыскивая новыя оправданія для науки. И, повторяю, въ то время какъ она почти ни въ чемъ другомъ спориться не можетъ, въ этомъ вопросѣ они поражаютъ своимъ единодушіемъ: они всѣ убѣждены, что необходимо оправдывать и возвеличивать науку. Такъ что современная теорія познанія превратилась изъ науки въ апологетику. Оттого и приемы доказательствъ у гносеологовъ сходны. Разъ нужно защитить науку, стало быть прежде всего нужно ее хвалить, т.-е. подбирать соображенія и

данным, указывающим на то, что наука выполняет ту или иную, но непременно очень высокую и важную миссию. Или, наоборот, представить картину того, что стало бы с человечеством, если бы у него было отнято знание. Благодаря этому, апологетический элемент стал играть в теории познания почти такую же роль, какая ему отводилась до сих пор в богословии. Пожалуй, близится то время, когда научная апологетика станет официально признанной философской дисциплиной.

Но qui s'exhorte—s'assure. Очевидно, в науке не все обстоит благополучно, раз она начала оправдываться. И, затѣмъ, апологетика—апологетикой, но вѣдь рано или поздно теория познания надобно попытаться одними славословіемъ, и она потребуетъ себѣ болѣе сложной и ответственной задачи, настоящего дѣла. Сейчас гносеологи исходятъ изъ предположенія, что научное знаніе есть совершенное знаніе, и потому предосудительно, на которыхъ оно держится, не подлежатъ критикѣ. Законъ причинности находитъ свое оправданіе не въ томъ, что онъ является выраженіемъ дѣйствительнаго соотношенія вещей, и даже не въ томъ, что мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи данныя, которые бы убѣждали насъ, что онъ не допускаетъ и никогда не допуститъ исключеній, т.-е. что дѣйствія безъ причины невозможны. Всего этого нѣтъ, но, говорятъ намъ, этого и не нужно.

Главное, что законъ причинности дѣлаетъ возможной науку, и, наоборотъ, отказатся отъ закона причинности значитъ отказатся отъ науки, вообще отказатся отъ всякаго знанія, предвидѣнія, по мнѣнію вѣлоторыхъ, даже отъ разума. Ясно, что если приходится выбирать между несовѣрнымъ основательнымъ допущеніемъ, съ одной стороны, и перспективой хаоса и безумія—съ другой, задумываться не приходится. Апологетика, какъ видите, подобрали сильнѣйшія *argumenta ad hominem*. Но всѣ такого рода *argumenta* имѣютъ одинъ общій недостатокъ: они непостоянны, они о двухъ концахъ.

Сегодня они говорятъ за научное знаніе, завтра—противъ него. И, въ самомъ дѣлѣ, бываетъ такъ, что именно вѣра въ законъ причинности рождаетъ въ душѣ то великое безпокойство и смутаніе, которое даетъ въ результатъ всѣ ужасы хаоса и безумія. Увѣренность въ неяснотѣ существующаго порядка въ извѣстныхъ случаяхъ прямо равнозначуща увѣренности въ бессмысленности и нелѣпости жизни. Вѣроятно, такое чувство испытали ученики Христа, когда до нихъ донесли съ престоа послѣднія слова ихъ распятаго учителя: Господи, отчего ты покинулъ насъ. И современные гносеологи могутъ торжествовать, когда законъ причинности оказался опорой хаоса и безумія—онъ *ipso facto* былъ отбѣненъ: Христосъ воскресъ, говорятъ намъ ученики Христа.

И сказавъ, что гносеологи могутъ торжествовать, но я долженъ признаться, что ни у одного гносеолога я не встрѣтилъ открытаго торжества по поводу столь явнаго доказательства истинности ихъ ученія. О воскресеніи Христа они совсѣмъ не говорятъ,—наоборотъ, оно имъ вслѣдствіе обходится и замалчивается. И это обстоятельство заставляетъ насъ остано-

ваться и приаадуматься. Возникает дилемма: признаешь, что законъ причинности не терпит исключеній, — твою душу будутъ вѣчно преслѣдовать послѣднія слова распятаго Христа; не признаешь — у тебя не будетъ науки. Одни утверждаютъ, что нельзя жить безъ науки, безъ знанія, что такая жизнь есть ужасъ и безуміе; другіе не могутъ примириться съ мыслью, что совершеннѣйшій изъ людей погибъ смертью разбойника. Какъ быть? Безъ чего, въ самомъ дѣлѣ, нельзя жить человеку? Безъ научнаго знанія или безъ убѣжденія, что правда и духовное совершенство въ послѣднемъ счетѣ выходятъ побѣдителями въ мірѣ? И каковъ положеніе по отношенію къ этимъ вопросамъ займетъ теорія познанія?

Попрежнему будетъ она продолжать свои апологетическія упражненія или пойметъ, наконецъ, что не въ этомъ ея настоящая задача и что, если она хочетъ есохранить за собой право называться философіей, то ей придется не оправдывать и прославлять существующее знаніе, а провѣрять и направлять его. Значить, прежде всего поставить вопросъ: действительно ли научное знаніе совершенно, или, быть можетъ, оно не совершенно и въ силу этого должно уступить мѣстъ занимаемое имъ почетное мѣсто иному знанію. Это, повидимому, самый главный вопросъ теоріи познанія, и этого вопроса она никогда не ставитъ. Она хочетъ прославлять существующую науку, она была, есть и, вѣрно, долго еще будетъ апологетикой...

Истина и польза.

Мысль, въ доказательство того, что все наши знанія, даже математическія, имѣютъ эмпирическое происхожденіе, приводитъ слѣдующее соображеніе: если бы каждый разъ, когда намъ приходилось брать дважды по два предмета, какое-нибудь божество подсовывало бы еще одинъ предметъ, то мы были бы убѣждены, что дважды два — не четыре, а пять. И вѣдь Мысль, пожалуй, правъ: пожалуй, мы не догадались бы, въ чемъ тутъ дѣло. Мы гораздо болѣе озабочены тѣмъ, чтобы выяснить практически нужное намъ, непосредственно полезное, чѣмъ отысканіемъ истины. Если бы божество подсовывало намъ при каждомъ четырехъ предметахъ пятый, мы бы принимали его и считали бы, что это естественно, понятно, необходимо, что иначе даже быть не можетъ. Вѣдь, въ сущности, все въ этомъ мірѣ подсунуто намъ божествомъ, и тѣмъ не менѣе никто не удивляется, большинство все понимаетъ, и все объясняетъ. Вѣдь сама правильность въ слѣдованіи явленій, наблюдаемая эмпириками, тоже подсунута намъ. Какъ? Когда? Кому охота спрашивать? Разъ законъ установленъ — никто не интересуется больше ничѣмъ: уже можно предсказывать будущее, можно пользоваться подсунутымъ, готовымъ, а все прочее отъ дукаваго.

Философы и учителя.

Шопенгауэра, какъ извѣстно, долгое время не только не признавали, но и не читали: его сочиненія шли на макулатуру; только подъ конецъ

жизни у него появились читатели и даже поклонники. И, разумеется, критики. Ибо каждый поклонник в сущности самый безжалостный и назойливый критикъ. Все ему нужно понять, все согласовать, и, конечно, нужные объясненія обязанъ дать учитель. Шопенгауэръ, до старости не имѣвшій учительскаго опыта, сначала очень благосклонно отнесся къ вопросамъ учениковъ и терпѣливо давалъ требуемые объясненія. Но чѣмъ дальше въ лѣтъ, тѣмъ больше дровъ. Всеподданнѣйшія недоумѣнія учениковъ становились все назойливѣе и назойливѣе, такъ что старикъ, наконецъ, вышелъ изъ себя. «Я отнюдь не подражалъ объяснять каждому желающему всѣ тайны міроустройства»,—воскликнулъ онъ однажды, когда одинъ изъ учениковъ слишкомъ настойчиво подчеркнул замѣченный имъ у Шопенгауэра противорѣчія. И точно,—развѣ учитель обязанъ все объяснять? И развѣ задача философа въ томъ, чтобы объяснять? Иначе говоря, развѣ философъ можетъ быть учителемъ? Въ словахъ Шопенгауэра данъ намъ отвѣтъ, отнюдь не двусмысленный. Философъ не только не можетъ, но и не хочетъ быть учителемъ. Учителя бываютъ въ гимназіяхъ, въ университетахъ—они преподаютъ арифметику, грамматику, логику, метафизику. У философа же совсѣмъ иное дѣло, нисколько на учительство не похожее.

Истина, какъ социальная субстанція.

Есть много способовъ, истинныхъ или воображаемыхъ, для объективной проверки философскихъ сужденій. Но всѣ они сводятся, какъ известно, къ пробѣ посредствомъ закона противорѣчій. Правда, всѣ знаютъ, что ни одно философское ученіе такой пробы не можетъ выдержать, такъ что, въ ожиданіи лучшаго будущаго, пока считаютъ возложившихъ провалить при проверкѣ нѣкоторую снисходительность. Обыкновенно удовлетворяются, если приходятъ къ убѣжденію, что философъ искренно старался избѣгать противорѣчій. Разъ добран воли налицо, на противорѣчія смотрятъ сквозь пальцы и въ философіи ищутъ другихъ качествъ. Спирозъ, наприм., прощаютъ непослѣдовательность за его amor intellectualis dei, Канту—за его любовь къ нравственности и прославленіе безкорыстія, Платону—за оригинальность и чистоту идеалистическихъ порывовъ, Аристотелю—за обширность и всеобъемлемость его познаній и т. д. Такъ что, собственно говоря, нужно признаться, что у насъ настоящаго, объективнаго способа проверки философской истины нѣтъ, и когда мы критикуемъ чужія системы, мы, въ концѣ-концовъ, судимъ произвольно. Подходить почему-либо намъ философъ, мы не безповинны его закономъ противорѣчій, не подходитъ—мы привлекаемъ его къ ответственности по всей строгости закона, впередъ утѣренные, что онъ окажется кругомъ виноватымъ. Но вѣдь иной разъ является охота проверить свои собственные философскія убѣжденія. Продѣлывать надъ ними комедію объективной проверки, искать у самого себя противорѣчія,—даже нѣмцы, я полагаю, на это не способны. А все-таки вѣдь хочется знать, располагаешь ли ты, въ самомъ дѣлѣ, истиной, или въ твоихъ рукахъ только общеобязательное

заблужденіе. Какъ быть? Но мнѣ, есть способъ: нужно представить себѣ, что твоя истина безусловно не можетъ быть ни для кого обязательной. Вотъ если, несмотря на то, ты все же отъ нея не откажешься, если истина выдержать такое испытаніе и останется для тебя тѣмъ же, чѣмъ была раньше, нужно думать, что она чего-нибудь да стоитъ. А то вѣдь часто мы цѣнимъ убѣжденіе не потому, что оно имѣетъ внутреннюю цѣнность, а потому, что оно имѣетъ хорошій сбытъ на рынкѣ. Робинзонъ, вѣроятно, совершенно иначе размышлялъ, чѣмъ современный писатель или профессоръ, сочиненія котораго подвергаются оцѣнкѣ его многочисленными коллегами, которые могутъ создать ему славу мудреца и ученаго или совсѣмъ погубить его репутацію. Даже у грековъ, которыхъ мы привыкли считать образцовыми мыслителями, всѣ сужденія имѣли, выражаясь языкомъ политической экономіи, не столько потребительную, сколько мѣровую цѣнность.

Греки не знали книгопечатанія и у нихъ не было библиографическихъ журналовъ,—но обыкновенно они свою мудрость выносили на площадь и прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы склонить людей къ признанію ея цѣнности. И трудно допустить, чтобы мудрость, постоянно выходящая къ людямъ, не приспособлялась къ человѣческимъ вкусамъ. Вѣрнѣе, она привывала лишь достоянью цѣнить себя, поскольку она могла рассчитывать на оцѣнку людей. Иначе говоря, цѣнность мудрости, какъ и всѣхъ прочіхъ товаровъ, не только у насъ, но уже у древнихъ, оказывается социальной субстанціей. Новѣйшая философія даже перестала скрывать это. Телеологическая точка зрѣнія какъ у рационалистовъ, примыкающихъ къ Фихте, такъ и у прагматистовъ, считающихъ себя преемниками Милля, открыто становится на общественную точку зрѣнія и говоритъ о соборномъ творчествѣ. Истина, которая не годится для всѣхъ и всегда, на внутреннихъ и на внешнихъ рынкахъ,—не есть истина. Пожалуй, даже цѣнность ея опредѣляется количествомъ вложеннаго въ нее труда. Марксъ могъ бы торжествовать: его теорія подъ разными флагами нашла себѣ доступъ во всѣ сферы современнаго мышленія. Едва ли найдется хоть одинъ философъ, который бы согласился примѣнять предлагаемый мною способъ провѣрки истины. И едва ли бы нашла хоть одна современная идея, которая бы выдержала эту пробу.

Ученіе и выводы.

Если мы хотимъ погубить новую мысль—постарайтесь ей дать наибольшее широкое распространеніе. Люди начнутъ вдумываться въ нее, примѣрять ее къ своимъ текущимъ нуждамъ, истолковывать, дѣлать изъ нея выводы, словомъ, втиснуть ее въ свой готовый логическій аппаратъ, или, точнѣе, завалить ее обломками собственныхъ привычныхъ, понятныхъ мыслей—и она станетъ такой же мертвой, какъ и все, что порождается логикой. Можетъ быть, этимъ объясняется стремленіе философовъ облачать свои мысли въ такую форму, которая затрудняетъ доступъ къ нимъ боль-

шой публикѣ. Большинство философскихъ системъ запутанно и неясно изложены, такъ что не всякій образованный человекъ можетъ разобраться въ нихъ. Жаль губить свое дѣтище, и всякій, какъ можетъ, оберегаетъ его отъ преждевременной смерти. Для мысли опаснѣе всего «выводы», якобы само собою разумѣющіеся. Она вовсе ихъ не предполагаетъ, ихъ ей обыкновенно навязываютъ. И, въ самомъ дѣлѣ, очень часто говорятъ: вѣдь бы хороша мысль, но она приводитъ къ выводамъ, абсолютно непріемлемымъ. И, наоборотъ, какъ часто философу приходится присутствовать при печальномъ зрѣлищѣ: ученики его покидаютъ все его мысли и питаются лишь одними выводами изъ нихъ. Всякій мыслитель, который имѣлъ несчастье еще при жизни обратить на себя вниманіе, по собственному опыту знаетъ, что такое «выводы». И встанъ рѣдко у него въ встрѣчѣ мужественный и открытый отпоръ противъ продолжателей его дѣла. И еще рѣже найдется философъ, который бы прямо заявилъ, что его дѣло не требуетъ продолженія, что оно даже не выноситъ продолженія, существуетъ только *an sich* *für sich*, довольствуясь собою. Да, если бы кто-нибудь сказалъ это, что бы отбыли ему? Спорить бы не стали—подите-ка, поспорьте съ человекомъ, который не хочетъ имъ спорить, ни доказывать.

Единственный отвѣтъ—это призывъ къ народному суду, къ суду Лампа. Люди настолько слабы и наивны, что въ каждомъ философѣ хотятъ во что бы то ни стало видѣть учителя въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Они хотятъ, иначе говоря, всецѣло перенести на него отвѣтственность за свои поступки, за свое настоящее, будущее, за всю свою судьбу. Вѣдь Сократа казнили не за его ученіе, а за то, что, по нѣкой греховѣ, онъ былъ опасенъ для Аѳинъ. И во все времена съ этимъ критеріемъ подходили къ истинѣ. Точно и въ самомъ дѣлѣ впередъ извѣстно, что истина должна быть полезной и предохранять отъ опасностей.

Одно изъ величайшихъ ученій—христіанство, преслѣдовалось тоже потому, что оно казалось непризваннымъ охранителемъ опасныхъ. Если угодно, оно даже и на самомъ дѣлѣ было очень опасно для римскихъ идеаловъ. Конечно, ни смерть Сократа, ни смерти тысячъ первохристіанъ не оберегли древнюю культуру и государственность отъ разложенія, но этотъ урокъ никому ничему не научилъ. Люди думаютъ, что все это были случайныя ошибки, отъ которыхъ встарину никто не былъ застрахованъ, но которыя уже болѣе не повторятся, а потому попрежнему продолжаютъ изъ каждой истины дѣлать «выводы» и по полученнымъ выводамъ судить объ истинѣ. И несуть достойное наказаніе: несмотря на то, что на землѣ было немало мудрецовъ, которые знали многое такое, что гораздо цѣннѣе всѣхъ тѣхъ сокровищъ, ради которыхъ люди готовы идти даже на смерть, мудрость оказывается для насъ лишьгой за сѣкью печатями, не дающимъ въ руки владомъ. Многіе, огромное большинство, даже серьезно увѣрены, что философія есть скучнѣйшее и нуднѣйшее занятіе, на которое обречены некоторые несчастные, имѣющіе *privilegium odiosum* называться философами. Мнѣ кажется, что нерѣдко даже профессора фило-

софія—изъ тѣхъ, которые «поумиѣ»—раздѣляютъ такое мнѣніе и даже полагаютъ, что въ этомъ послѣдніи, извѣстная только посвященнымъ, тайна ихъ «науки». Но, къ счастью, дѣло обстоитъ иначе. Можетъ быть, человѣчеству не суждено въ этомъ отношеніи никогда измѣниться, можетъ быть и черезъ тысячу лѣтъ люди будутъ гораздо болѣе дорожить «выводами», теоретическими и практическими, изъ истины, чѣмъ самой истиной,—постояннымъ философамъ, т.-е. людямъ, знающимъ, что имъ нужно и чего они добиваются, это врядъ ли помѣшаетъ. Они непремѣнно будутъ высказывать свои истины, нисколько не справляясь о томъ, какія заключенія сдѣлаютъ изъ ихъ истины любители логики.

Доказанные и недоказанные истины.

Откуда явилась у насъ привычка требовать по поводу каждой высказанной мысли доказательствъ? Если откинуть то соображеніе (въ данномъ случаѣ оно для насъ рѣшающаго значенія не имѣетъ), что люди часто нарочно обманываютъ своихъ ближнихъ изъ корысти или ради иныхъ выгодъ, то, собственно говоря, надобность въ доказательствахъ совершенно устраняется. Правда, возможенъ еще самообманъ, собственные неполныя заблужденія. Иной разъ принимаешь призракъ за дѣйствительность—хочется оберечь себя отъ такой обидной ошибки. Но какъ только возможность добросовѣстнаго заблужденія устранена,—доказательства ipso facto становятся ненужными. И тогда уже можно просто рассказывать, безъ всякихъ доводовъ, разсужденій и ссылокъ. Хотите—вѣрьте, хотите—нѣтъ. И есть одна область—назъ разъ та, которая всегда особенно владела въ себѣ наиболѣе замѣчательныхъ представителей человѣческаго рода, гдѣ какъ разъ доказательства, по общему признанію, и невозможны. Намъ учили до сихъ поръ, что о томъ, чего доказать нельзя, и говорить не слѣдуетъ. Хуже того, мы такъ устроили свой языкъ, что, собственно говоря, все, что бы мы ни сказали, мы высказываемъ въ формѣ сужденія, т.-е. въ такой формѣ, которая предполагаетъ не только возможность, но и необходимость доказательствъ. Можетъ быть, поэтому-то метафизика и служила постояннымъ предметомъ нападокъ. Утверждать она утверждаетъ, а доказывать не можетъ. Истинно сказать, метафизика, повидимому, не только не могла найти такой формы выраженія для своихъ истинъ, которая освобождала бы ее отъ обязанности доказывать, но и не хотѣла этого. Она себя считала наукой по преимуществу и потому полагала, что ей еще больше и строже, чѣмъ другимъ наукамъ, необходимо доказывать тѣ сужденія, которые она принимала подъ свою защиту. Ей представлялось, что, откажись она отъ обязанности доказывать, она потеряетъ и всѣ права словъ. И въ этомъ, нужно думать, была ея роковая ошибка. Соответствіе правъ и обязанностей есть, можетъ быть, кардинальная истина (лучше сказать, кардинальная фикція) ученія о правѣ, но въ сферу философіи она занесена по недоразумѣнію. Тутъ, скорѣе, господствуетъ противоположный принципъ: права обратны пропорціональны обязанностямъ. И такъ лишь, гдѣ

превращаются въ обязанности, приобретается величайшее, важнѣйшее суверенное право—право общенія съ послѣдними истинами. Причемъ ни на минуту не надо забывать, что послѣднія истины не имѣютъ почти ничего общаго съ истинами серединными, логическую конструкцию которыхъ мы такъ тщательно и добросовѣстно изучаемъ въ теченіе вотъ уже болѣе двухъ тысячелѣтій. Основное отлчіе ихъ въ томъ, что первая абсолютно непонятны. Непонятны, подтверждаю—однако не недоступны. Правда, серединныя истины тоже, собственно говоря, непонятны. Кто станетъ утверждать, что онъ понимаетъ свѣтъ, теплоту, боль, гордость, радость, удивленіе?

Но все же нашъ разумъ въ союзѣ съ всеобъемлющей привычкой придать, при помощи нѣкоторыхъ натяжекъ, совокупности явленій въ предѣлахъ достижимаго намъ отрѣзка вселенской жизни нѣкій видъ гармоніи и единства, и это съ незапамятныхъ временъ слыветъ подъ именемъ понятнаго объясненія міроизданія. Но извѣстный, т.-е. привычный, міръ въ достаточной мѣрѣ непонятенъ, такъ что добросовѣстность требуетъ признать непонятность основнымъ предикатомъ бытія. Нельзя разсуждать, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые, что мы не понимаемъ міра только потому, что отъ насъ все-что скрыто или что нашъ разумъ слабъ, такъ что, если бы высшее существо захотѣло намъ раскрыть тайну міроизданія или, если въ теченіе слѣдующаго милліарда лѣтъ у человѣка такъ разовьется мозгъ, что онъ будетъ превосходить насъ настолько же, насколько мы превосходимъ нашего официального предка—обезьяну,—то міръ станетъ понятнымъ. Нѣтъ, нѣтъ и вѣтъ! По самому существу гѣ операція, которая мы производимъ надъ дѣйствительностью, чтобы понять ее, полезны и нужны только до тѣхъ поръ, пока онъ не переходитъ за извѣстный предѣлъ. Можно «понять» устройство локомотива. Законно также искать объясненія солнечнаго затмѣнія или землетрясенія. Но наступаетъ моментъ—мы только не можемъ точно опредѣлить его—когда объясненія теряютъ всякій смыслъ и ни для чего болѣе не нужны. Похоже на то, будто насъ ведутъ на веревочкѣ закона достаточнаго основанія до извѣстнаго мѣста съ тѣмъ, чтобы истомъ бросить: куда хотите, туда идите. Мы же до такой степени привыкаемъ за нашу долгую жизнь къ веревочкѣ, что начинаемъ вѣрить, что она относится къ самой сущности міра; что въ веревочкѣ, какъ таковой, великая тайна, тайна всѣхъ тайнъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ мыслителей, Спиноза, думалъ, что даже самъ Богъ связанъ необходимостью.

Пусть каждый внимательно посмотритъ въ себя, и онъ убѣдится, что не можетъ не только мыслить, но почти даже существовать безъ снотворнаго предположенія. Дѣло Юма, такъ блестяще оспарившаго предпосылку о причинной необходимости, было наполовину только сдѣлано: нельзя доказать, что существуетъ необходимая связь—это онъ выяснилъ. Но вѣдь нельзя доказать и противоположнаго утвержденія. Въ результатѣ все осталось по-старому: Кантъ, а за Кантомъ все человѣчество вернулось на позицію Спинозы. Свободу загнали въ интеллигибельный міръ—

страну безвѣстную, откуда путникъ не возвращался въ нѣмъ, и все по-прежнему стоитъ на своемъ мѣстѣ: философія во что бы то ни стало хочетъ быть наукою. Но это безусловно не удается, но цѣну, которую она отдала за право называться наукою, ей уже не возвращаютъ. Она отказалась отъ права искать идѣ угодно, что ей нужно, и право это у ней, повидимому, навсегда отнято. Да нужно ли оно ей было? Если вы взглянете на современную нѣмецкую философію, вы, не колеблясь, скажете, что и не нужно было. Не по ошибкѣ и даже не въ погоню за новымъ чиномъ отказалась она отъ своего великаго призванія—оно стало для ней невыносимымъ бременемъ. Какъ ни трудно въ этомъ признаться, но вѣдь несомненно, что великія тайны міроизданія не могутъ быть выявлены съ той легкостью и отчетливостью, съ которой нѣмъ открывается видимый и осязаемый міръ. Не только другихъ—самого себя ты не убѣдишь въ своей истинѣ съ той очевидностью, съ какою удается убѣдить всѣхъ безъ исключенія въ истинахъ научныхъ.

Откровенія—если они и бываютъ—суть всегда откровенія на мгновеніе. Нагонецъ, объясняетъ Достоевскій, если ему и удавалось попадать въ рай, могъ оставаться тамъ самое непродолжительное время, отъ полусекунды до пяти секундъ. И самъ Достоевскій тоже попадалъ въ рай лишь на мгновеніе. А здѣсь, на землѣ, оба они жили годами, десятилѣтіями, и аду земного существованія, казалось, не было конца. Ахъ было очевидно, доказуемо, его можно было фиксировать, демонстрировать на ослѣхъ. А какъ доказать рай? Какъ фиксировать, какъ выявить эти полусекунды райскаго блаженства, которыя съ низшей стороны выражались въ формѣ безобразныхъ и страшныхъ эпилептическихъ припадковъ съ конвульсіями, судорогами, кривой у рта, иногда, при неудачномъ, неожиданномъ паденіи, и съ кровью?! Опытъ-таки хотите—вѣрите, хотите—нѣтъ. А вѣдь человѣкъ, живущій то въ раю, то въ аду, воспринимаетъ жизнь до такой степени иначе, чѣмъ другіе люди! И хочется думать, что онъ правъ, что его опытъ имѣетъ большую цѣнность, что жизнь вовсе не такая, какъ ее изображаютъ люди иного опыта и болѣе ограниченныхъ переживаній. Какъ хотѣлъ Достоевскій убѣдить всѣхъ въ своей правотѣ, какъ упорно доказывалъ онъ и какъ сердился отъ жившаго въ глубинѣ его души сознанія, что онъ безсилекъ что бы то ни было доказать. Но фактъ остается фактомъ. Эпилептики и сумасшедшіе, можетъ быть, знаютъ такіе вещи, о которыхъ нормальные люди не имѣютъ даже отдаленнаго предчувствія, но сообщать свои знанія другимъ, доказать ихъ—имъ не дано. И вообще есть знаніе—оно-то и является предметомъ философскихъ исканій—котораго можно приобщиться, но которое по самому существу нельзя передать всѣмъ, т.-е. обратить въ произнесенныя и доказанныя, общеобязательныя истины. Отказаться отъ него ради того, чтобы философія получила право называться наукою? Иногда люди такъ и поступали. Были трезвыя эпохи, когда погоня за положительнымъ знаніемъ поглощала всѣхъ, кто былъ способенъ въ духовной работѣ. Или, можетъ быть, это были такіе эпохи, когда

люди, неважные чего-либо много, кроме положительных знаний, были осуждены на всеобщее презрѣніе и проходили незамѣченными: въ такіа времена Платонъ не встрѣтилъ бы сочувствія и умеръ бы въ неизвестности. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно одно: тотъ, у кого интересъ къ недоказуемымъ истинамъ является преобладающимъ интересомъ и главнымъ двигателемъ жизни, осужденъ на полное или относительное «безплодіе» въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно понимается это слово. Если онъ умный и даровитый человѣкъ, можетъ быть, заинтересуются его умомъ и дарованіемъ, но мимо его дѣла пройдутъ съ равнодушіемъ, презрѣніемъ или даже ужасомъ. И станутъ предостерегать противъ него:

Смотрите-жъ, дѣти, на него,
Какъ онъ угримъ, а худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ насъ и бѣденъ,
Какъ презираютъ всѣ его.

Развѣ дѣло пророковъ, сказавшихъ послѣднихъ истинъ, не было безплоднымъ, ненужнымъ дѣломъ? Развѣ жизнь считалась съ ними? Жизнь шла своимъ чередомъ, и голоса пророковъ были, есть и будутъ голосами воющихъ въ пустынь. Ибо то, что они видятъ, что они знаютъ—не можетъ быть доказано и доказательству не подлежитъ. Пророки были всегда уединенными, оторванными, отрѣзанными, безсильными въ своей замкнутой гордости людьми. Пророки—это короли безъ армій. При всей своей любви къ подданнымъ—они для нихъ ничего не могутъ сдѣлать, ибо подданные чтутъ только воровъ, обладающихъ грозной военной силой. И — да будетъ такъ.

Предѣлы дѣйствительности.

Самый послѣдовательный и убѣжденный реалистъ въ концѣ-концовъ не представляетъ себѣ жизнь такою, какою она на самомъ дѣлѣ является. Многое онъ просматриваетъ и, наоборотъ, часто видитъ такое, чего совсѣмъ нѣтъ въ дѣйствительности. Думаю, что нѣтъ надобности пояснять это примѣромъ. При всемъ нашемъ желаніи быть объективными, мы въ концѣ-концовъ крайне субъективны, и то, что Кантъ называетъ синтетическими сужденіями а priori, посредствомъ которыхъ нашъ разумъ формируетъ природу и диктуетъ ей законы, играетъ въ нашей жизни большую и очень серьезную роль. Мы создаемъ нѣчто вроде покрывала Майи, т.-е. мы бодрствуемъ во снѣ и снѣмъ наяву, точно какой-то волшебная сила заворожила насъ. И, какъ это бываетъ во снѣ, мы мгновеніями чувствуемъ, что то, что съ нами происходитъ, есть нѣчто вроде полусна, половинная, неясная жизнь. Шопенгауэръ и буддисты были правы, утверждая, что о покрывалѣ Майи, т.-е. о доступномъ намъ мірѣ, одинаково неправильно говорить, что онъ существуетъ и что онъ не существуетъ. Правда, логика не допускаетъ такихъ сужденій и воздвигаетъ противъ нихъ упорнѣйшія гоненія, ибо они нарушаютъ одинъ изъ основныхъ ея законовъ. Но ничего не поделаешь: когда приходится выбирать между философіей, заман-

то, что делают съ глубоко уснувшимъ человѣкомъ нужно тормошить его, шипать, бить, шекотать, нужно, можетъ быть, если все это не дѣйствуетъ, прибѣгнуть къ еще болѣе сильнымъ, къ героическимъ средствамъ. Во всякомъ случаѣ, нельзя вѣлѣть рекомендовать созерцаніе, которое способно еще болѣе уснить человѣка, и покой, который приводитъ къ тѣмъ же результатамъ. Философія должна жить сарказмами, насмѣшками, тревогой, борьбой, недоумѣніями, отчаяніемъ, великими надеждами и разбѣгать себѣ созерцаніе и покой только отъ времени до времени, для передышки. И тогда, можетъ быть, ей удастся, на-ряду съ реалистическими сновидѣніями, создать сновидѣнія совсѣмъ иного порядка, которыя бы имѣли уже ту цѣнность, что вѣсѣмъ наглядно показали бы, что общепризнанныя сновидѣнія не есть единственно возможныя. Для какой цѣли? Полагаю, на этотъ вопросъ можно и не отвѣчать: кто предлагаетъ его, этимъ самымъ показываетъ, что ему ни отвѣтъ, ни такая философія не нужны. А кому нужно, тотъ спрашивать не станетъ и терпѣливо будетъ ждать событій. 40-градусной температуры, аналитическаго припадка или чего-нибудь въ такомъ же роцѣ, что облегчаетъ трудную задачу исцелѣнія...

Данное и возможное.

Законы причинности, какъ эмпирическій принципъ—превосходная вещь; существующія науки въ достаточной степени убѣждаютъ насъ въ этомъ. Но, какъ идея (въ Платоновскомъ смыслѣ), она мало чего стоитъ, по крайней мѣрѣ, порою. Строгая гармонія и порядокъ въ мѣрѣ очаровывали многихъ людей: такіе великаны мысли, какъ Спиноза и Гёте, останавливались съ благоговѣннымъ удивленіемъ въ созерцаніи великаго и неизмѣннаго порядка въ природѣ. И даже возводили, поэтому, необходимость въ санъ изначальнаго, вѣчнаго, кремѣннаго принципа. И нужно признаться, что міросозерцаніе Гёте и Спинозы живетъ въ каждомъ изъ насъ, что болѣею частью мы можемъ любить и чтить миръ лишь тогда, когда душа наша чувствуетъ въ немъ стрѣнную гармонию. Гармонія кажется намъ одновременно и величайшей цѣнностью и послѣдней истиной. Она даетъ душѣ великій покой, твердую устойчивость, довѣріе къ творцу, т.-е. высшій, какъ учатъ философы, блага, доступныя смертнымъ. И, тѣмъ не менѣе, бывають иные порывы. Человѣческимъ сердцемъ внезапно овлаждаетъ тоска по фантастическому, непрекidyнному, не допускающему предвѣдѣнія. Прекрасный миръ теряетъ свою красоту, душевный покой кажется позорнымъ, прочность ощущается, какъ невыносимая тяжесть. Подобно тому, какъ возмущавшій юноша вдругъ начинаетъ мучительно тосковать благодѣтельной, такъ мною ему давшей родительской опекой—хотя не знаетъ, что дѣлать со своей свободой—прозрѣвшій человѣкъ стыдится даннаго ему, кѣмъ-то созданнаго благополучія. Законъ причинности, какъ и вся міровая гармонія, кажется ему прѣстнымъ, облегчающимъ жизнь, но унизительнымъ даромъ. За покой, за радости ничѣмъ невозмутимой жизни онъ отдастъ право своего пернородства, великое право свободнаго творчества. Онъ не

понимаетъ, какъ великанъ Гёте могъ прельститься соблазнами пріятной жизни, онъ заподозриваетъ искренность Штины. Нечисто что-то въ датскомъ королевствѣ! Ибо онъ съ дерева познанія добра и зла, хотя бы путь къ нему шелъ черезъ величайшія муки, становится единственною цѣлью его жизни...

И, странно, какъ будто сама природа озабочена тѣмъ, чтобы толкать человѣка на этотъ безумный, роковой путь. Наступаетъ въ нашей жизни пора, когда какой-то повелительный тайный голосъ запрещаетъ намъ радоваться красотѣ и величію мірозданія. Міръ попрежнему являетъ насъ, но уже не даетъ чистой радости. Вспомните Чехова. Какъ любилъ онъ природу, и какое безмірное чувство тоски слышится въ его дивныхъ описаніяхъ природы. Точно каждый разъ, когда онъ взглянетъ на голубое небо, волнующееся море или зеленый лѣсъ, кто-то властнымъ голосомъ шепчетъ ему: все это уже не твоё, ты еще можешь все это видѣть, но ты уже не въ правѣ этому радоваться. Ты еще живъ, но ты уже умеръ для этой жизни. Готовься къ иному бытію, гдѣ не будетъ дикнутаго, законченнаго, готоваго, гдѣ не будетъ совершеннаго, гдѣ будетъ одно безпредѣльное творчество. А все, что есть въ этомъ мірѣ, подлежитъ разрушенію, разрушенію и разрушенію, даже эта природа, которую ты такъ страстно любишь и отъ которой тебѣ такъ трудно и такъ больно отказаться. Все толкаетъ насъ въ таинственную область вѣчно фантастическаго, вѣчно безпорядочнаго и, быть можетъ, кто знаетъ?.. вѣчно прекраснаго...

Опытъ и доказательства.

Когда Декарту пришло въ голову его *cogito ergo sum*, онъ отиѣтилъ этотъ день—10 ноября 1619 года—какъ день замѣчательный: меня ослѣпило, написалъ онъ въ дневникѣ, свѣтъ удивительнаго открытія. То же рассказываетъ про себя и Шеллингъ въ 1801 году онъ «узрѣлъ свѣтъ». И съ Ницше, когда онъ бродилъ по горамъ и долинамъ Энгадина, произошла великая метаморфоза: онъ постигъ свое вѣчное возвращеніе. Можно было бы назвать много философовъ, поэтовъ, художниковъ, проповѣдниковъ, которые, подобно названнымъ тремъ, внезапно прозрѣли и свое прозрѣніе считали началомъ новой жизни. Вѣроятно даже, что и съ безъ исключенія люди, которымъ суждено было жить міру итѣе совершенно новое и оригинальное, испытывали чудо такой мгновенной метаморфозы. И тѣмъ не менѣе хотя объ этихъ чудесахъ много и часто говорится—во всѣхъ почти біографіяхъ великихъ людей—мы, собственно, не умѣемъ изъ нихъ сдѣлать никакого употребленія. Декартъ, Шеллингъ, Ницше повѣствуютъ о своихъ превращеніяхъ, у насъ Толстой и Достоевскій—о своихъ, въ прошломъ менѣе отдаленномъ—Магомедъ и ая. Павелъ, въ болѣе глубокой древности легенда повѣствуетъ о Моисей. Но, если бы я здѣсь и удесатерилъ количество приведенныхъ случаевъ, если бы даже ихъ удалось собрать тысячи—разумъ бы не могъ изъ нихъ сдѣлать никакого вывода,—иначе говоря, какъ научный матеріалъ, всѣ эти случаи не имѣютъ

никакой цѣнности, въ то время когда одинъ основъ ископаемаго или единственный случай нежданной, рѣдкой болѣзни является драгоценной находкой для ученаго. И, что еще интереснѣе: Декартъ-былъ такъ пораженъ своимъ *cogito ergo sum*, Ницше своимъ вѣчнымъ возвращеніемъ, Магометь своимъ расемъ, а Павелъ своимъ видѣніемъ—мы же остаемся болѣе или менѣе равнодушными во всему, что они рассказываютъ о своихъ переживанияхъ. Только наиболѣе чуткіе изъ насъ пристраиваются къ такого рода рассказамъ, и то даже они принуждены таить про себя свои впечатлѣнія,—ибо что съ ними прикажете дѣлать? Нѣтъ малая даже фиксировать въ запискахъ несообразныхъ фантазъ, ибо и фантазы требуютъ провѣрки, должны быть доказаны. А доказательства нѣтъ. Философія и религіозныя учения, предлагаемыя людьми, пережившими необыкновенныя внутреннія событія, болѣею частью не только не подтверждаютъ, но скорѣе опровергаютъ ихъ собственныя рассказы объ откровеніи. Ибо философія и религіозныя учения до сихъ поръ всегда задавались цѣлью привлечь къ себѣ всѣхъ и всякаго, а чтобы достичь этого, приходится прибѣгать къ такого рода приему, которые дѣйствуютъ на обыкновеннаго, не знающаго ничего необыкновеннаго, человека, т. е. опять таки въ доказательствѣ, въ сомнѣніи на очевидныя и осязаемыя, подлежащія вѣрѣ, вѣсу и счету явленія. Въ головахъ въ доказательствѣ, въ убѣдительности и доступности приходилось жертвовать самымъ важнымъ и существеннымъ и выставлять на видъ то, что можетъ быть согласовано съ разумомъ, т. е. болѣе или менѣе уже извѣстное и кому-то мало интересное и маловажное. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ такъ называемая опытная наука все болѣе и болѣе входила въ силу, привычка оставлять про себя все то, что не можетъ быть демонстрировано ad oculos, все прочіе и прочіи укоренилась и сдѣлалась почти второй природой человека. Мы теперь уже «естественно» дѣлимся съ ближними лишь небольшою частью нашего опыта, такъ что, если бы въ наше время жила Магометь или Павелъ, то имъ бы и въ голову не пришло рассказывать о своихъ необыкновенныхъ исторіяхъ. На что уже былъ силъ Ницше, а можетъ быть и вѣчный возвращеніе онъ рассказываетъ лишь вскользь и гораздо болѣе занятъ проповѣдью морали Übermenschen'a, которая, хотя и поразила сначала людей, но все же въ концѣ концовъ была принята съ большими или меньшими измѣненіями, ибо обладала доказательностью. Очевидно, имъ стоитъ предъ великой дилеммой: если мы будемъ попрежнему культивировать современную методологию, мы рискуемъ до того сдвинуться съ ней, что потеряемъ способность не то что дѣлаться съ другими людьми всѣми неровностями и исключительными переживаниями, но даже удерживать ихъ цѣльно-цѣлѣ пречю въ своей памяти. Они станутъ такъ же забываться, какъ и сновидѣнія, они даже будутъ казаться снами важны. И такимъ образомъ, мы себя навсегда отрѣжемъ отъ огромной области дѣятельности, смысла и значенія которой во всякомъ случаѣ еще далеко не разгаданы и не оценены. Въ древнія времена умѣли и сновидѣнія, и галлю-

цинація сумасшедшаго приобщать къ дѣйствительности; мы же ждемъ къ тому, чтобы урѣзать настоящую, несомнѣнную дѣйствительность, переводя ее въ область галлюцинацій и сновидѣній. Полагаю, что даже современный человѣкъ безъ колебанія не станетъ на сторону нашей методологіи, если даже онъ и не способенъ думать, вслѣдъ за древними, что сновидѣнія далеко не столь ни на что не нужная вещь. А разъ такъ, то, стало быть, права переживаній отнюдь не должны опредѣляться степенью ихъ доказательности. Какъ бы странно, капризно наши переживанія ни были, какъ бы мало ни ладилися они съ укрѣпившимися и господствующими представлениями объ обязательномъ характерѣ событій внутренней и внешней жизни,—разъ они живутъ мѣсто въ душѣ человѣка, они уже ipso facto приобретаютъ законное право фигурировать на-ряду съ самыми доказательными и доступными контролю и проверкѣ, даже нарочитому эксперименту, фактами.

Скажутъ—мы тогда не гарантированы отъ злостныхъ обмановъ. Люди, никогда не бывшие въ раю, будутъ выдавать себя за Магоматовъ; все это вѣрно; будутъ говорить и будутъ читать. И не будетъ способа объективной проверкѣ. Но вѣдь будутъ и правду рассказывать. И, чтобы сласки гавую правду, можно рѣшиться проплыть цѣлый океанъ жи. Да, если угодно, вовсе не такъ уже невозможно въ этой области отличить правду отъ жи, хотя, разумѣется, не по тѣмъ признакамъ, которые выработала логика. И даже не по признакамъ, а безъ всякихъ признаковъ. Вѣдь вотъ признаки прекраснаго еще до сихъ поръ даже и приблизительно не опредѣлены, и Богъ дастъ—не въ обиду изидамъ будь сказано—никогда опредѣлены и не будутъ, а Аполлона и Венеру мы всетаки отличаемъ. Такъ и съ истиной: можно и ее узнать. А если кто не умѣетъ отличать безъ признаковъ, да въдобавокъ еще не хочетъ? Какъ быть съ нимъ? Право, не знаю; да притомъ я вовсе не полагаю, что необходимо, чтобы всѣ до одного дѣйствовали согласно. Да когда такъ было, чтобы всѣ дѣйствовали согласно? Люди большей частью дѣйствовали вразбродъ, сходясь въ однихъ мѣстахъ и расходясь въ кругахъ. И, да будетъ такъ! Одни будутъ узнавать и искать истину по признакамъ, другіе безъ всякихъ признаковъ, какъ Богъ на душу положитъ, а третьи—по своимъ способамъ.

Седьмой день творенія.

Сократъ рассказываетъ, что ему часто приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ замѣчательныхъ по глубинѣ и серьезности мысли, но когда онъ начиналъ допрашивать ихъ подробности, онъ убѣждался, что они сами не принимаютъ того, что говорятъ. Что собственно это значить? Хотѣлъ ли Сократъ въ данныхъ случаяхъ сравнить поэтовъ съ попугаями или учеными дроздами, которые могутъ затвердить при помощи ихъ учителя-человѣка какія угодно, совершенно недоступныя имъ мысли? Едва ли такъ. Едва ли Сократъ думалъ, что то, что говорятъ поэты, подслушано ими у кого-либо и механически затвержено, хотя и осталось въ душѣ совершенно чуждо-

Вскрыть много отъ употребилъ слово «не понимать» въ томъ смыслѣ, что они не умѣли доказать, объяснить правдивость и основательность своихъ мыслей, т. е. вывести и связать ихъ съ определенными мировоззрѣніемъ. Какъ извѣстно, Сократъ находилъ, что не только поэты, но и всѣ люди, начиная отъ выдающихся государственныхъ дѣятелей и кончая невѣдомыми ремесленниками, знали сужденія и даже много сужденій; но никогда не умѣли имъ объяснить, откуда эти сужденія пришли къ нимъ, ни согласовать ихъ между собою.

Въ этомъ отношеніи поэты были такими же людьми, какъ и всѣ прочіе люди: они добывали себѣ изъ какого-то таинственнаго источника истины, часто высклокъ и галбоня, но ни доказать, ни объяснить ихъ не умѣли. Сократу повиналось это большой бѣдой, даже настоящимъ несчастьемъ. Не знаю, какъ это случилось — на однихъ историкъ философію не объяснилъ этого, этимъ даже мало интересовался — но Сократъ почему-то рѣшилъ, что недознанная и необъясненная истина имѣетъ меньше вѣрности, чѣмъ доказанная и объясненная. Въ наше время, когда сократовскую мысль превратили въ цѣлую теорію, даже иррессорцаніе, — это сужденіе кажется столь естественнымъ и само собою разумѣющимся, что въ немъ никто и никогда не сомнѣвается. Но въ древности дѣло обстояло иначе: Собственно говоря, Сократъ полагалъ, что поэты добывали свои истины, которыхъ они не умѣли доказать, изъ очень почтеннаго и заслуживающаго всякаго довѣрія источника: онъ самъ сравниваетъ поэтовъ съ оракулами и допущаетъ, стало быть, что они имѣютъ общеніе съ богами. Стало быть, есть превосходнѣйшая гарантія того, что поэты обладали настоящей, неподдѣльной истиной, — залогомъ ее неподдѣльности являлся божественный авторитетъ. Сократъ замечаетъ, что и самъ онъ нѣдѣе руководствовался въ своихъ дѣйствіяхъ не соображеніемъ своего разума, а прислушивался къ голосу своего таинственнаго демона. Иначе говоря, онъ иногда воздерживался отъ тѣхъ или иныхъ поступковъ (его демонъ никогда не давалъ ему положительныхъ совѣтовъ, а только лишь отрицательные), не будучи въ состояніи привести никакихъ резоновъ — единственно потому, что тайный, но болѣе авторитетный, чѣмъ всякій челоѣческій разумъ, голосъ требовалъ отъ него воздержанія.

Такъ вотъ, не странно ли, что при такихъ обстоятельствахъ, въ эпоху, когда боги давали людямъ истины, вдругъ явилось у челоѣка ничѣмъ необъяснимое желаніе добывать истины помимо боговъ и независимо отъ нихъ; путемъ приѣвонія столь любимаго греками диалектическаго метода? Сравнивается, что для насъ важно: добыть истину или добыть себѣ собственными усиліями хотя бы и ложное, но свое сужденіе? Прихитръ Сократъ, который являлся образцомъ для всѣхъ дальнѣйшихъ полезныхъ мыслящихъ людей, не оставляетъ никакого сомнѣнія. Людямъ готова истина не нужна; они отворачиваются отъ боговъ, чтобы предаться самостоятельному творчеству. Въ Библии разсказывается приблизительно такая же исторія Чого; наконецъ, подставляло Адаму? Жилъ въ рай, въ непосредственной

близости къ Богу, отъ котораго онъ могъ узнать все, что ему нужно. Такъ быть не, это ему не годилось. Достаточно было ему слышать свое творческое предложение, какъ человекъ, забывши о гнѣвѣ Божию въ обоихъ грозившихъ ему опасностяхъ, сорвалъ яблоко съ запретнаго дерева. И тогда истина, прежде, т.-е. до сотворенія мира и человека—единая, раскололась и разбилась на великое, можетъ, безконечно великое множество самыхъ разнообразныхъ, вѣчно рождающихся и вѣчно умирающихъ истинъ. Это было седьмымъ, немисленимымъ въ исторіи, днемъ творенія. Человекъ сталъ сотрудникомъ Бога, сталъ самъ творить. Сократъ отказывается отъ божественной истины и даже пренебрежительно отказывается отъ ней только потому, что она не доказана, т.-е. не носитъ на себѣ сдѣланой человѣческой руки. Вѣдь и самъ Сократъ науку, собственно, не доказалъ, но онъ доказывалъ, творилъ и въ этомъ видѣлъ смыслъ своей и всякой человѣческой жизни. Поэтому, вѣрно, приговоръ дельфійскаго оракула намотся истиннымъ и въ наше время: Сократъ былъ мудрейшимъ изъ людей. И кто хочетъ быть мудрымъ, тотъ долженъ, вздрамая Сократу, ни въ чемъ на него не быть похожимъ. Такъ всѣ великіе философы, всѣ великіе люди и дѣлали.

Чему учить исторію философіи?

Неокантианство, какъ извѣстно, является преобладающимъ направлениемъ въ современной философіи. Литература о Кантѣ разрослась до размеровъ прямо восхитительныхъ. Но если попытаться разобраться въ колоссальной массѣ написаннаго о Кантѣ и поставить себѣ вопросъ, что, собственно, осталось намъ отъ кантовскаго ученія, то придется въ вѣдѣйшую минуту нашему науколюбцу отвѣтить: ровно ничего. Едѣ обыкновенно, несмѣлико громкое имя Канта, и нѣтъ положительно ни одного кантовскаго тезиса, который бы въ неистолкованномъ видѣ сохранился бы до нашего времени. Я говорю въ неистолкованномъ видѣ—ибо истолкованія въ сущности сводятся къ произвольнымъ передѣлкамъ, иногда даже съ вѣдѣйшей стороны утратившимъ всякое сходство съ оригиналомъ. Такія истолкованія начались еще при жизни Канта—первый примѣръ подалъ Фихте. Кантовцы, какъ на это реагировалъ Кантъ: онъ требовалъ, чтобы его ученіе понималось не по духу, а по буквѣ. И Кантъ былъ, конечно, совершенно правъ. Одно изъ двухъ либо бери его ученіе тѣлитъ, какъ оно есть, либо выдумывай свое. Но судьба всѣхъ мыслителей, которыхъ суждено было донести свои мысли эпохамъ, такова: ихъ истолковывали, т.-е. передѣлывали до неузнаваемости. Ибо по истеченіи короткаго времени выяснилось, что изъ идей до такой степени обременены противорѣчіями, что, если брать ихъ въ такомъ видѣ, въ законъ онъ вышелъ изъ рукъ ихъ творцовъ, онъ окажется абсолютно неприменимымъ. И въ законъ дѣлѣ, всѣ тѣ критики, которые не рѣшались впередъ, что имъ нужно быть правокритиками кантовскими, приходили къ заключенію, что Кантъ не доказалъ ни одного изъ своихъ основныхъ положеній. Можно еще смѣлѣе сказать: именно въ

силу того, что Кант, благодаря занятию им центральному положению, привлекает къ себѣ очень много вниманія и подвергается очень тщательной критикѣ, постепенно выяснилось то, что, впрочемъ, можно было и по-ранѣе знать: его ученье состоитъ изъ сложнаго противорѣчя. Итогъ болѣе чѣмъ столѣтняго изученія Канта можетъ быть резюмированъ въ двухъ словахъ: несмотря на то, что онъ не боялся самыхъ возможныхъ противорѣчя, ему не удалось сколько-нибудь убѣдительно доказать правдивость своего учения. При необычайной силѣ и глубинѣ ума, при оригинальности, силѣ, остроумии построений—онъ, собственно, не далъ ничего такого, что могло бы непосредственно считаться положительнымъ приобретениемъ философии. Подтвердивши, что я высказываю по свое мнѣн. я только могу между итогъ мнѣнйя и истинныхъ притворъ Канта, тѣхъ самыхъ, которые создали ему топочивающаго всего респекта.

То же, что о Кантѣ, можно сказать о всѣхъ великихъ представителей философской мысли, начиная съ Платона и Аристотеля и кончая Гегелемъ, Шопенгауэромъ и Ницше. Ихъ творения поражаютъ силой, глубиной, смѣлостью, красотой и оригинальностью мысли. Цена чтенія ихъ, кажется, что ихъ устава говорить сама истина. И какія жертвы ради предосторожности принимали они, чтобъ не ошибиться! Они не вѣрили ничему изъ того, во что привыкли вѣрить люди. Они во всемъ методически сомнѣвались, все пересматривали десятки, сотни разъ. И какія жертвы они приносили—жизнь свою отдавали истинѣ—не на словахъ, на дѣлѣ. И все же итогъ тотъ же, что у Канта: ни одному изъ нихъ не удалось даже придумать систему, свободную отъ внутреннихъ противорѣчя. Аристотель уже критиковалъ Платона, свѣтлѣе—изъ обоня, а такъ же нашихъ дней, каждый новый, нарождающийся мыслитель борется со своимъ предшественникомъ, уличаетъ его въ противорѣчя и заблужденія, и онъ знаетъ, что самъ заранее обреченъ на такую же судьбу. Историкъ философии изъ себя выбиваются для того, чтобы скрыть эту неизбежно бросающуюся въ глаза, въ сущности ни для него не составляющую тайны черту философскаго творчества. Префаны и люди, которые вообще не любятъ думать и потому хотятъ презирать философию, указываютъ на отсутствие единства среди философовъ, какъ на доказательство того, что философия не стоитъ изучать. Но и тѣ и другіе неправы. Историкъ философии не только не ищетъ нахъ мысли о преемственной эволюціи новой-набудъ идеи, но, наоборотъ, наглядно убѣждаетъ насъ въ противоположномъ: среди философовъ нѣтъ, не было и никогда не будетъ стремленія къ единству. И не найдутъ они, поведенію, и въ будущемъ свободной отъ противорѣчя истины, ибо истины, въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понимается людьми и наукою, она и не ищутъ—противорѣчя же нѣтъ, въ концѣ-концовъ, не ищутъ, скорѣе—маленькіе Шопенгауэры кажутся свое критику кантовской философии словами Вольтера дѣлать безнаказанно вслѣдъ ошибкамъ—зрѣлѣе гегеля. И въ концѣ, что нѣтъ и кроется разгадка тайны философскаго гонимъ Онъ дѣлаетъ великія, величайшія ошибки—и

безпачаеанна. Боле того, ему его ошибки въ заслугу ставятся, ибо дѣло не въ его истинахъ, не въ его сужденіяхъ, а въ немъ самомъ. Когда вы слышите отъ Платона, что видимая нами жизнь есть только тѣнь; когда опытный Богонъ Спиноза славословитъ вѣчную необходимость, когда Кантъ заявляетъ, что разумъ думаетъ законы природы,—мы, слушающіе ихъ, вовсе и не провѣряете, вѣрны или невѣрны ихъ утвержденія, вы соглашаетесь съ каждымъ изъ нихъ, что бы онъ вамъ ни сказалъ, и единственный вопросъ возникаетъ въ вашей душѣ: кто онъ такой, что говорить, какъ власть имѣющій. Вслѣдствіе вы отбросите отъ себя съ ужасомъ, можетъ, съ негодованіемъ и отвращеніемъ или даже совершенно равнодушно, всё ихъ истину. Вы не согласитесь признать, что наша жизнь есть только тѣнь настоящей дѣятельности; вы возмущаетесь противъ Бога Спинозы, который не можетъ любить, но требуетъ себѣ любви; категорическій императивъ Канта вамъ покажется холоднымъ чудовищемъ, —но вы никогда не забудете ни Платона, ни Спинозы, ни Канта, и навсегда сохраните благодарность въ нимъ—они заставили васъ повѣрить, что смертнымъ дана власть. И вы поймете тогда, что въ философіи нѣтъ заблужденій и истинъ; что заблужденія и истины—для того, какъ нѣтъ есть высшая власть, законъ, норма. Философы же сами создаютъ законы и нормы: этому учить насъ исторія философіи, это есть то, что труднѣе всего усвоить и понять человеку. Я уже говорилъ, что исторія философіи выносятъ совсѣмъ иную мораль изъ изученія великихъ челоѣческихъ твореній.

Наука и метафизика

Въ своей автобиографіи Спенсеръ признается, что онъ, собственно говоря, никогда не читалъ Канта. У него была въ рукахъ «Критика чистаго разума», и онъ даже прочелъ начало—трансцендентальную эстетику, но это именно начало и убедило его, что дальше читать незначитъ. Разъ только можетъ сдѣлать такое неправдоподобное допущеніе, какое сдѣлалъ Кантъ, признавши субъективность нашихъ формъ воспріятія—пространства и времени, съ ними уже нельзя серьезно считаться. Будетъ онъ послѣдовательнымъ, вся его философія окажется системой абсурдовъ и нелѣпостей; будетъ онъ непослѣдователенъ—тѣмъ менѣе онъ заслуживаетъ вниманія.

Спенсеръ убѣжденно утверждаетъ, что, разъ онъ не можетъ принять основное положеніе Канта, онъ уже не только не можетъ стать кантіанцемъ, но даже находить для себя излишнимъ дальнѣйшее знакомство съ философіей Канта. Что онъ не станетъ кантіанцемъ, въ этомъ бѣды мало — и безъ него кантіанцевъ достаточно; но что онъ не ознакомился съ главными трудами Канта и, главное, со всей школой, вышедшей изъ Канта, объ этомъ можно искренно пожалѣть. Можетъ быть, какъ свѣкій, далекий отъ традицій континента человекъ, онъ сдѣлалъ бы любопытнѣйшее открытіе: онъ убѣдился бы, что вовсе нѣтъ надобности принимать положе-

не о субъективности пространства и времени, чтобы стать кантианцем. И, может быть, со свойственной ему откровенностью и простотой, не боясь прослыть за наивность, онъ сказалъ бы даже, что на одинъ кантианецъ (кроме Шопенгауэра), даже самъ Кантъ, никогда не принималъ серьезно основных положений трансцендентальной эстетики и потому не думалъ изъ нихъ ровно никакихъ выводовъ и заключений. Наоборотъ, трансцендентальная эстетика сама была выведена изъ другого положения — о томъ, что у насъ есть эмпирические суждения о ритме. Оригинальная роль этой действительно оригинальнѣйшей изъ когда либо существовавшихъ теорій состояла въ томъ, чтобы служить оградой и объяснениемъ математическимъ наукамъ. Самостоятельного, материальнаго содержания, подлесающего анализу и изучению, у ней даже будто никогда и не было. Пространство и время суть вечныя формы нашего восприятия мира — къ этому, по точному смыслу кантовскаго учения, нельзя ничего прибавить, равно какъ отъ этого ничего убавить нельзя. Спенсеръ воображалъ, не дочитавъ до конца книги, что Кантъ стиветъ отсюда дѣлать заключения — и испугался. Не если бы онъ дочиталъ книгу до конца, онъ бы убѣдился, что Кантъ никакихъ выводовъ не дѣлалъ, что весь смыслъ «Критики чистаго разума» въ томъ именно и состоитъ, что изъ положений трансцендентальной эстетики никакихъ выводовъ дѣлать не полагается. И вотъ скоро уже повтораста дѣтъ съ тѣмъ зорь, какъ вышла «Критика чистаго разума». Ни одно философское сочиненіе столько не изучалось и не комментировалось, сколько эта критика. И такъ во всемъ — гдѣ тѣ кантианцы, которые пытались бы сдѣлать выводы изъ положенія о субъективности пространства и времени? Одинъ Шопенгауэръ представляетъ исключеніе. Онъ, изъ савонъ дѣлъ, серьезно отнесся къ этой кантовской идее, — но можно быть преувеличеннымъ сказать, что весь всѣхъ кантианцевъ менте всего похоть на Канта именно Шопенгауэръ.

Нрзъ если покрывало Майн — развѣ Кантъ согласился бы на такое толкованіе своей трансцендентальной эстетики? Или, что сказалъ бы Кантъ, если бы онъ услышалъ, что, ссылаясь все на ту же эстетику, изъ которой Шопенгауэръ выдѣлъ гениальнѣйшее философское откровеніе, этотъ послѣдній допускаетъ возможность основаній и наукъ? Впрочемъ, Спенсеръ думалъ, что самъ Кантъ сдѣлаетъ всѣ эти выводы, и потому бросилъ книгу, объяснившему къ столь негншимъ заключениямъ. И жалъ, что Спенсеръ поторопился. Если бы онъ ознакомился съ Кантомъ, онъ убѣдился бы, что такая негнкая идея можетъ сослужить очень полезную службу, и что вовсе не въ нуждѣ дѣлать изъ идеи всѣ выводы, изъ которыхъ она можетъ прарести. Чаловѣкъ — существо свободное: хочетъ — заключаетъ, не хочетъ — не заключаетъ, и потому судить по общему предположенію о характерѣ философской теоріи нѣтъ никакой возможности. Даже Шопенгауэръ не воспроизводилъ во всей полнотѣ кантовское откровеніе, которое, если только оно, действительно, угадало срывавшуюся до снѣхъ поръ отъ людей правду, должно было не то что доложить, но и метафизическимъ мышлениемъ,

и, наоборотъ, дать толчокъ и поводъ къ совершенно новымъ, съ прежней точки зрѣнія прямо немыслимымъ и безумнымъ, опытамъ. Ибо разъ пространство и время суть формы нашего, человеческого воспріятія, стало быть они-то именно и скрываютъ отъ насъ послѣднюю истину. Пока люди ничего объ этомъ не знали и престоудно принимали видимость действительности за настоящую действительность, они, конечно, о настоящемъ познаніи не могли и мечтать. Но съ того момента, какъ мы, благодаря принципиальности Канта, открылись истинѣ—именно, что нѣтъ задачи состояла именно въ томъ, чтобы найти угодно способомъ освободиться отъ шоръ и преодолѣть, стало быть, а не закурить въ засѣдѣ засинопотъ всѣхъ тѣхъ сужденій, которыя Кантъ называетъ синтетическими сужденіями а priori. И метафизика, новая, критическая метафизика, давшая себѣ отчетъ въ томъ, въ какомъ глаупотъ положеніи находилась до сихъ поръ людъ, вѣдѣние въ аподиктическіхъ сужденіяхъ вѣдѣние истины, должна была поставить себѣ всамую задачу, оглянуться во что бы то ни стало отъ аподиктическихъ сужденій, какъ заведомо ложныхъ. Иными словами, задача Канта должна была бы быть не въ томъ, чтобы остановить разрушительное дѣйствіе эмпирическаго скептицизма, а въ томъ, чтобы найти новый, еще болѣе сильныи возмущающій матеріалъ и разрушить даже тѣ преграды, которыя Юнгъ принужденъ былъ сохранить. Вѣдь очевидно, что истина лежитъ за синтетическими сужденіями а priori! И что она вовсе не должна быть похожа на апериорное сужденіе, что она вообще не должна быть похожа на сужденіе!

И неслѣдуетъ се упрямо возводить не такъ, какъ ее до сихъ поръ искали. До нѣкоторой степени Кантъ пытался изобразить, какъ она представляется себѣ скрывающаяся подъ словами «пространство и время суть субъективные формы воспріятія» мысль. Онъ даже и наглядный примѣръ предложилъ: можетъ быть,—говорилъ онъ,—что есть сущее, воспринимающее міръ не въ формахъ пространства и времени. Это значитъ, что для такихъ существъ нѣтъ вещей не существующихъ. Все, что мы воспринимаемъ въ воспринимающей силѣ—она воспринимаетъ сразу. Для насъ Цезарь и живетъ еще, а уверь, для насъ XXV вѣкъ по Р. А., до котораго никто изъ насъ не доживетъ, и XXV вѣкъ по Р. X., который мы съ такими трудомъ воспроизводимъ по случайно сохранившимся отрывочнымъ слѣдамъ прошлаго, отдаленный сѣверный полюсъ и даже тѣ звѣзды, которыя не видны въ телескопъ,—все такъ же доступно нѣхъ сознанию, какъ для насъ происходящія на нашихъ глазахъ событія. И тѣмъ же мысля Кантъ, несмотря на всю соблазнъ добыть то знаніе, которое доступно такимъ существамъ, несмущая на свое глубокое убѣжденіе въ истинности своего открытія, палецъ о палецъ не ударилъ, чтобы разрушить очарованіе формъ воспріятія и категорій разсудка, чтобы сорвать, съ себя шоры и увидѣть всю глубину таинственной, доселѣ скрытой отъ насъ действительности. Онъ даже не объясняетъ сколько-нибудь обстоятельно, отчего онъ считаетъ такую задачу невыполнимой, и ограничивается догматиче-

длиннѣе утверждать, что человекъ не можетъ постигнуть действительность въ пространствѣ и времени. Почему? Въдѣ это вопросъ такой огромной важности! Сравнительно съ нимъ отступаютъ на второй планъ всѣ вопросы «Критики чистаго разума». Какъ возможна математика, какъ возможны естественныя науки,—въ концѣ-концовъ даже и не вопросы во сравненіи съ тѣмъ, возможно ли намъ освободиться отъ условнаго эмпирическаго знанія, чтобы добиться послѣдней, всеобъемлющей истины.

Кантианцы въ этомъ отношеніи проявляютъ еще болѣе равнодушныя, чѣмъ Кантъ, и даже гордятся своимъ равнодушіемъ, ставятъ его себѣ въ высокую моральную заслугу. Они утверждаютъ, что истинѣ вовсе не изъ синтетическими сужденіями а priori, а именно въ нихъ, и что не Творецъ надѣлъ на насъ шоры, а что эти шоры мы сами себѣ изобрѣли, и что всякая попытка снять ихъ съ себя и открытыми глазами посмотреть на миръ—свидѣтельствуетъ о развращенности. Если бы теперь древній змій явился соблазнить современнаго Адама, онъ ушелъ бы не созоно хлебавши. Емму и Ева не помогла бы: Ева ХХ столѣтія учится въ университетѣ и уже въ достаточной степени притупила свою природную любознательность. Она превосходно говоритъ о телеологической точкѣ зрѣнія и не менѣе мужественно защищена отъ искушенія. Я не разделяю увѣренности Канта, что пространство и время суть формы нашего воспріятія, и не вижу въ этомъ откровенія. Но, если бы я принялъ это апологетическое утвержденіе, если бы я могъ думать, что въ немъ кроется истина, я бы уже не ушелъ отъ него въ положительной науцѣ.

Жаль, что Спенсеръ не дочиталъ «Критики чистаго разума». Онъ убѣдился бы въ важной истинѣ. философу вовсе нѣтъ надобности считать себя со всѣми выводами изъ своихъ предпосылокъ. Нужно лишь имѣть добрую волю, и изъ самой парадоксальной и подозрительной предпосылки можно извлечь выводы, вполне согласные и со здравымъ смысломъ, и съ правилами добросовѣстности. А такъ какъ воля Канта въ такой же мѣрѣ была доброй, какъ и воля Спенсера, то въ выводахъ они вполне сошлись, хотя въ основныхъ положеніяхъ были такъ далеко другъ отъ друга.

Молчаливая предпосылка.

Шопенгауэръ первый изъ философовъ поставилъ вопросъ о цѣнности жизни. И далъ на него опредѣленный отвѣтъ: въ жизни гораздо болѣе страданій и горя, чѣмъ радостей,—слѣдовательно, жизнь должна быть отвергнута. Прибавлю, что онъ, собственно, поставилъ вопросъ не только о цѣнности жизни, но и о цѣнности радости и страданія. И на этотъ вопросъ далъ не менѣе опредѣленный отвѣтъ; радость, по его ученію, всегда отрицательна, страданіе же всегда положительно. Стало быть, по самому существу своему, радость не можетъ искупить горя.

Во всемъ этомъ философскомъ построеніи—и въ постановкѣ, и въ разрѣшеніи вопроса—особенно любопытна и интересна одна молчаливая, невыраженная предпосылка. Шопенгауэръ исходитъ изъ предположенія, что

его оцінка жизни, радости и страдания—для того, чтобы жить прямо и выигрывать жизнью, должно замечать въ себѣ что-то общеобязательное и, въ силу того, соотносить въ послѣднемъ счетѣ съ оцѣнкой всѣхъ другихъ людей. Съ чего онъ началъ это? Психологически, когда мысли Шопенгауэра понятны и легко объяснимы. Отъ привычки къ научной постановкѣ и разрѣшенію вопросовъ, и въ занимавшій его вопросъ онъ перенесъ приемы изслѣдованія, которые, по общему признанію, обыкновенно приводятъ насъ къ истинамъ. Своєю предпосылкой онъ не протѣрялъ ни чье, да и вообще нѣдѣ нельзя протѣрять предпосылку каждый разъ, когда въ ней является надобность. Ее даже не предполагается выставлять на видъ, называть. Она разумится сама собой. Если основной признакъ всякой истины есть ея всеобщность и обязательность, то и въ данномъ случаѣ истиннымъ отъ-тогда на вопросъ о цѣнности жизни будетъ лишь тотъ, который окажется признаннымъ безусловно для всѣхъ людей, даже для всѣхъ разумныхъ существъ. Такъ бы, вѣроятно, отзывалъ Шопенгауэръ, если бы кто набудъ усомнился въ его правѣ на самую постановку въ такой общей формѣ вопроса о цѣнности жизни.

Однако, если бы Шопенгауэръ былъ правъ. Это, между прочимъ, выясняется и изъ тѣхъ возраженій, которыя представляются его противникамъ. Все упирается въ то, что самая постановка вопроса предполагаетъ субъективную точку зрѣнія —выдаюконкавъ.

Вопросъ о цѣнности жизни, возрѣваятъ ему, вовсе не рѣшается такъ, дѣлать ли въ общемъ итогѣ жизнь больше радостей, чѣмъ страданій, или наоборотъ. Жизнь можетъ быть глубоко мучительна и безрадостна, жизнь можетъ представлять изъ себя одну сплошную ужасъ—и все-таки быть цѣнной. Философія Шопенгауэра не обсуждалась при его жизни, такъ что онъ ничего не могъ отнѣсти своимъ противникамъ,—но если бы онъ былъ живъ еще, правая бы онъ эти возраженія и отпадала бы эта бессмыслица? Убѣжденъ, что нѣтъ. Вѣстѣ съ тѣмъ я убѣжденъ, что и его противники оказавшись бы на мѣстѣ стоянція и продолжали бы твердить свое: не въ радостяхъ, и не въ страданіяхъ дѣло, мы оцѣниваемъ жизнь не совсѣмъ якому, автоматическому наслаждѣ. И вотъ при этомъ спорѣ являлся бы, можетъ быть, для обѣихъ спорящихъ сторонъ, что предпосылка, о которой я упоминалъ выше и которую онѣ обѣ приняли, какъ не требующую доказательства и разуміющуюсь безъ объясненій, требуетъ и доказательства, и разъясненій, и не можетъ представить ни тѣхъ, ни другихъ. Для нѣкого выдаюконкавъ точка зрѣнія является послѣдней и рѣшающей, другому она кажется презрѣнной и низменной, а онъ смысла жизни ищетъ въ какой-либо высшей, этической или эстетической дѣлѣ. Бываютъ и такіе люди, которые любятъ горе и страданіе и въ нихъ видятъ оправданіе и источникъ глубины и вѣличности жизни. Я уже не говорю о томъ, что при подведеніи итоговъ жизни обыкновенно получаются і разныхъ счетовъ разные, прямо противоположные результаты, что возбуждаютъ неразрѣшимые споры по поводу тѣхъ или иныхъ цѣнто-

стей. Шопенгауэръ, въ примѣру, заводитъ, какъ мы видѣли, что страданія положительны, а радости—отрицательны. И отсюда заключаетъ, что ради самой большой радости не стоитъ подвергаться даже малой неприятности. Что можно отвѣтить ему? Какъ разубѣдить его? А неужъ тѣмъ фактъ налицо: многие смотрятъ совсемъ иначе на дѣло и ради одной радости готовы выносить множество очень серьезныхъ трудностей. Словомъ, предпосылка Шопенгауэра совершенно незаконна и не только не можетъ быть принята, какъ несомнѣнная истина, но должна быть квалифицирована, какъ несомнѣнное заблужденіе. Нельзя впередъ быть увѣренными, что на вопросъ о цѣнности жизни можетъ быть данъ единый для всѣхъ обязательный отвѣтъ. Навѣсь словами, мы сталкиваемся здѣсь съ чрезвычайно любопытнымъ, съ гносеологической точки зрѣнія, случаемъ. Оказывается, что на одинъ изъ важнѣйшихъ, можетъ быть даже на самый важный философскій вопросъ, по самому существу дѣла не можетъ быть данъ единообразный отвѣтъ. Если васъ спросятъ, что есть жизнь: добро или зло, вы принуждены сказать, что жизнь есть и добро, и зло, и ничто совершенно индифферентное, стоящее изъ добра и зла, и смыслъ добра и зла, въ которомъ больше добра, чѣмъ зла, и зла, чѣмъ добра и т. д.

И, подчеркивая, каждый изъ этихъ отвѣтовъ, несмотря на то, что логически они другъ друга совершенно исключаютъ, въ правѣ претендовать на титулъ истинны, такъ какъ, если онъ и не обладаетъ достаточной властью для того, чтобы заставить преклониться предъ собой друго отвѣтъ, то во всякомъ случаѣ найдетъ въ себѣ силы, нужныя для того, чтобы отбить нападеніе противниковъ и отстаивать свои суверенныя права. Выбѣсто единой и всевластной истины, предъ которой трепещутъ слабыя и беззащитныя заблужденія, вы имѣете предъ собою цѣлый рядъ прекрасно вооруженныхъ и защищенныхъ, совершенно независимыхъ истинъ. Выбѣсто королевскаго режима—феодалный строй. И феодалы крѣпко засѣли въ своихъ замкахъ: опытный глазъ сразу убѣждается, что ихъ укрѣпленія неприступны.

Я взялъ для примѣра ученіе Шопенгауэра о цѣнности жизни. Но многія философіи учения, несмотря на то, что они исходятъ изъ предпосылокъ о единой, суверенной истинѣ,—излагаютъ намъ примѣры множественности истинъ. Обыкновенно думаютъ, что исторію философіи слѣдуетъ изучать затѣмъ, чтобъ вочью убѣдиться, какъ человѣчество постепенно преодолеваетъ свои заблужденія и приближается къ послѣдней истинѣ. Я думаю, что исторія философіи должна приводить всякаго безпристрастнаго, не зараженнаго современными предразсудками человѣка къ прямо противоположному заключенію. Несомнѣнно, что существуетъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые, какъ и вопросъ о цѣнности жизни, не доускаютъ по самому существу своему единообразнаго рѣшенія. Объ этомъ часто свидѣтельствуютъ люди, навѣе всего заинтересованные въ томъ, чтобъ одерогать королевскія прерогативы самодержавной истины. Нѣкоторые изъ унѣреннѣйшихъ утверждаютъ, что Аристотель не то, что не козакъ, но

не могъ понять Платона. «Der tiefere Grund ist die ewige Unfähigkeit des Materialismus noch in den Gesichtspunkt der kritischen Philosophie überhaupt zu verfallen». Ewige Unfähigkeit—same-to same! И не о немъ-набукъ, а о величайшемъ изъ насъ величайшихъ человеческомъ геніи—объ Аристотелѣ. Если бы Наторъ былъ сколько-нибудь любознательнѣе, такого рода ewige Unfähigkeit должна была бы его обременить, но французъ штрѣ, востановивъ, насколько и философія Платона, о которой онъ написалъ большую книгу. Но мы тутъ, очевидно, ставимъ предъ величайшей загадкой; разные люди, смотря по ихъ душевной организаціи, осуждаютъ одно въ утробѣ на-тера вѣтъ ту или иную философію. Догматики въ свою очередь говорить или могутъ говорить объ ewige Unfähigkeit ихъ противника. Это напоминаетъ собою знаменитое замѣчаніе оное толкованіе предсудобавленія. Богъ еще до рожденія осудилъ однихъ на гибель, другихъ на спасеніе, однимъ дано, другимъ не дано знать истину. И вѣтъ же Наторъ, вѣтъ такъ разсуждаетъ вся современная философія,—вѣтъ, а съ добросовѣстными философами, постоянно пререкающимися межъ собою, подзаряжаютъ другъ друга въ ewige Unfähigkeit. Такъ способомъ убѣжденія, которыми разсуждаютъ представители другихъ, положительныхъ наукъ, у философовъ, вѣтъ, они не упикутъ принудить всякаго въ положительнымъ замѣчаніемъ, что слѣдующее глго, изъ личный взглядъ, изъ личный убѣжденіе, изъ послѣднее убѣжденіе—смысла на вѣчную неспособность ихъ противника понять ихъ. Тутъ для всякаго аска трагическая дилемма. Одно изъ двухъ: либо на философію нужно совѣтъ мекнуть рукой, либо то, что Наторъ замечаетъ ewige Unfähigkeit, есть не порокъ, не слабость, а великая добродѣтель, сила—до сихъ поръ еще не оцененная и неопытная. Дѣйствительно, Аристотель органически не могъ понять Платона, такъ же какъ Платонъ не могъ бы понять Аристотеля, какъ они оба не могли понять скептиковъ и софистовъ, какъ Лейбницъ не могъ понять Спинозу, Шопенгауэръ Гегеля и т. д. вплоть до нашихъ смутныхъ дней, когда ни одинъ изъ философовъ не можетъ понять никого, кромѣ самого себя. Болѣе того, философы не только не стремятся къ взаимному пониманію и единенію, но обыкновенно милохотво замѣчаютъ въ себѣ сходство со своими вреднѣйшими. Когда Шопенгауэру указали на сходство его ученія съ ученіемъ Спинозы, онъ воскликнулъ: *regent qui amo vos domita dixit*. А можетъ такъ представители другихъ, положительныхъ наукъ, другъ друга понимать, спорить рѣдко и не аргументируютъ никогда силой на ewige Unfähigkeit своихъ товарищей. Можетъ быть, въ философіи, спланивый мнѣно, застѣйскій порядокъ вещей и своеобразная аргументація zur Sache gehören, можетъ быть здѣсь такъ и быть должно, что Аристотель не понимаетъ Платона, т. е. не признаетъ его, материалисты вѣчно враждуютъ съ идеалистами, критики съ догматиками и т. д. Наконецъ, та предпосылка, съ которой Шопенгауэръ приступилъ къ изслѣдованію вопроса о цѣлности жизни и которому, какъ мы упоминали, онъ изложилъ безпримѣрной у представителей положительныхъ наукъ, эта пред-

посылка, вполне применимая на своемъ мѣстѣ, — совершенно не годится для философіи. И, на самомъ дѣлѣ, философы, хотя никогда и никуда этого не рассказываютъ, гораздо болѣе цѣнятъ свои индивидуальныя убѣжденія, чѣмъ всеобщую и обязательную истину. Невозможность отыскать единую философскую истину беспокоитъ кого угодно, только не философовъ, которые, какъ только добудутъ для себя убѣжденія, никакъ не заботятся о томъ, чтобы обезпечить имъ всеобщее признаніе. Они хлопочутъ только о томъ, чтобы освободиться отъ вассальной зависимости и приобрести для себя суверенныя права, — будутъ ли, на-ряду съ ними, существовать еще другія владѣтельныя особы, это уже ихъ сравнительно мало занимаетъ.

Слѣдовало бы попытаться такъ изложить исторію философіи, чтобы указанная тенденція проявлялась въ ней съ достаточной ясностью. Это избавило бы насъ отъ многихъ предразсудковъ и расчистило бы путь для новыхъ, очень важныхъ, изысканій. Кантъ, раздѣлявшій мнѣніе, что истина для всѣхъ одна, былъ убѣжденъ, что метафизика должна быть наукой *a priori*, и, такъ какъ она не можетъ быть наукой *a priori*, то ей слѣдуетъ совсѣмъ перестать существовать. Если бы въ его время исторія философіи излагалась и понималась иначе, ему бы не пришло въ голову такъ оспаривать права метафизики. И, вѣроятно, онъ не сталъ бы огорчаться ни противорѣчивостью, ни бездоказательностью ученій разныхъ метафизическихъ школъ. Иначе вѣдь не можетъ и не должно быть. Человѣчество заинтересовано не въ томъ, чтобы положить конецъ разнообразію философскихъ ученій, а въ томъ, чтобы дать этому вполне естественному явленію развиваться вглубь и вширь. Философы инстинктивно всегда стремились къ этому — оттого они и доставляли столько хлопотъ историкамъ философіи.

Первые и послѣдніе.

Въ первомъ томѣ «*Menschliches, Allzumenschliches*», написанномъ Ницше въ самомъ началѣ его болѣзни, когда онъ былъ далеко еще отъ послѣдней победы и преимущественно рассказывалъ о своихъ пораженіяхъ, мы встрѣчаемъ слѣдующее замѣчательное, хотя наполовину иевольное признаніе: *die völlige Unverantwortlichkeit des Menschen für seine Handlungen und sein Wesen ist der bitterste Tropfen, welchen der Erkennende schlucken muss, wenn er gewohnt war in der Verantwortlichkeit und der Pflicht den Adelsbrief seines Menschenthums zu sehen.*

Много горечи приходится проглотить испытующему духу, — но самое горькое — въ признаніи, что твои нравственныя качества, твоя готовность исполнить безропотно твой долгъ не даетъ тебѣ никакихъ преимуществъ предъ другими людьми. Ты думаешь, что ты благородный дворянинъ, даже владѣтельный князь, украшенный короной, всѣ же остальные люди — мужичья сивалаповъ, а ты — такой же мужикъ или такой же человѣкъ, какъ и всѣ прочіе. *Adelsbrief* — грамота, какъ оказывается, есть то, изъ-за чего исполнялся самый тяжелый долгъ, изъ-за чего приносилась жертвы, что

оставляло смыслъ жизни. И тогда вдругъ выясняется, что никакихъ чиновъ и знаковъ отличія впереди не предвидится—это кажется ужасной, неслыханной катастрофой, геологическимъ переворотомъ,—жизнь теряетъ всякій смыслъ. Повидимому, это убѣжденіе, высказанное въ приведенныхъ словахъ съ такою трогательною откровенностью, было второй природою Ницше, справиться съ нимъ онъ не могъ до конца жизни. Что такое *Adelsbrief*, какъ не титулъ, грамота, дающая право называться дворяниномъ среди мужичья? Что такое известъ разстоянія и все ученіе Ницше о рангахъ? Формула по ту сторону добра и зла была далеко не такъ все уничтожающей, какъ это казалось на первый взглядъ. Даже наоборотъ, пожалуй: уничтожая одни законы, начертанные на скрижаляхъ завета стараго человечества, она какъ будто бы выявляла другіе, истершіеся отъ времени и потому для многихъ почти невидимые.

Вся нравственность, все добро *an und für sich* отвергается, но *Adelsbrief*, грамота тѣмъ болѣе растетъ въ своей цѣнѣ, становится если не единственной, то во всякомъ случаѣ главной цѣнностью. Жизнь теряетъ свой смыслъ, разъ титулы и чины будутъ уничтожены, разъ отнимается право высоко носить голову, выпачивать грудь и даже животъ, презрительно смотреть на окружающихъ тебя.

Для того, чтобы было понятно, до какой степени ученіе о рангахъ срослось съ человѣческой душой—я напому слова Евангелія о первыхъ и послѣднихъ. Христосъ, который, кажется, говорилъ языкомъ совершенно новымъ, который училъ людей презирать земныя блага,—богатства, славу, почести, который такъ легко уступалъ все это кесарю, ибо считалъ, что только кесарю оно можетъ быть нужнымъ, самъ Христосъ, обращаясь къ людямъ, не считалъ возможнымъ отнять у нихъ надежду на отличіе. Послѣдніе здѣсь будутъ первыми тамъ. Какъ? И тамъ будутъ первые и вторые? Въ Евангеліи такъ сказано, потому ли, что и на самомъ дѣлѣ такое дѣленіе людей по рангамъ есть нѣчто изначальное, непреходящее, или потому, что Христосъ, разговаривая съ людьми, не могъ не говорить человѣческими словами. Можетъ быть, если бы не это обѣщаніе, если бы вообще на рядъ доступныхъ человѣческому пониманію обѣщаній—лаградъ—Евангеліе не исполнило бы своей великой исторической мисси, прошло бы совершенно незамѣченнымъ на землѣ, и никто бы не учуялъ и не призналъ бы въ немъ благой вѣсти. Христосъ зналъ, что отъ всего могутъ отказаться люди, только не отъ права первенства, отъ превосходства предъ своими ближними, отъ того, что Ницше называетъ *Adelsbrief*. Безъ этой прерогативы вѣстнаго рода людямъ жить нельзя. Они становятся тѣмъ, что пѣицы называютъ такъ удачно *Vogelgei*—лишенными покровительства закономъ, ибо въ этомъ единственный источникъ ихъ правъ. Грубая, бессмысленная, отвратительная дѣйствительность, единственной защитой отъ которой, повторяю и подчеркиваю, является *Adelsbrief*, неписанная грамота, все ближе, неотступнѣе и грознѣе подходитъ къ нимъ и предъявляетъ свои требованія. «Разъ ты такой же, какъ и все прочіе люди,—

говорить оза, —принимай отъ меня свой жизненный опытъ, исполняй свои будничныя повинности, хуже того, принимай отъ меня тѣ кары и внутреннія, которыя подвергается все неприналежавшее сословіе—вплоть до тѣлеснаго наказанія». Какъ принять такія унижительныя условія тому, кто привыкъ думать, что онъ въ правѣ высоко нести свою голову, быть независимымъ и гордымъ человекомъ? Ницше съ тупой покорностью выжидаетъ прогласить ужасную горечь этого жгучаго призванія—но мужества и выносливости, его мужества и выносливости нехватаетъ для этого величайшаго и труднѣйшаго подвига. Онъ не выноситъ ужаса безправной, не защищенной жизни—онъ снова ищетъ силы и власти, которая была бы его покровительницею и вернула бы ему отнятыя права. И не успокаивается до тѣхъ поръ, пока не получаетъ подъ инымъ названіемъ полное *in integro restitutio*, все принадлежавшія ему прежде права. И вѣдь не одинъ Ницше такъ поступалъ: вся исторія этики, вся исторія философіи есть въ значительной степени непрерывное исцеленіе преимуществъ и привилегій, грамотъ и хартій. Христіане Достоевскій и Толстой въ этомъ отношеніи нисколько не разнятся отъ врага христіанства—Ницше. Смирный еврей Спινόза и столь же смиренный язычникъ Сократъ, идеалистъ Платонъ и реалистъ Аристотель, осквозители породѣвшихъ благороднѣйшихъ и возвышеннѣйшихъ системъ—Кантъ, Фихте, Гегель, даже пессимистъ Шопенгауеръ—все, какъ одинъ человекъ, добиваются грамоты, грамоты и грамоты. Очевидно, безъ грамоты жизни вѣдь, на землѣ, обращается для «лучшихъ» людей въ безумный кошмаръ и становится невыносимой пыткой. Даже осквозитель христіанства, такъ легко отказавшійся отъ всѣхъ привилегій, эту привилегію считъ возможнымъ сохранить для своихъ учениковъ, а можетъ быть, кто знаетъ? и для самого себя...

А между тѣмъ, если бы Ницше и другіе названные философы могли бы рѣшительно отвергнуть титулы, чины и почести, раздаваемые не только моралью, но и всѣми другими поставленными надъ человекомъ дѣйствительными и воображаемыми синекріонами, если бы они исполни до дна эту чашу, можетъ быть они узнали бы, увидѣли и услышали—многое такое, чего никто и не подозревалъ до сихъ поръ. Вѣдь путь къ познанію—это уже давно извѣстно—ведетъ черезъ великое самоотреченіе. Ни праведность, ни даже гений не дастъ тебѣ никакихъ преимуществъ предъ другими. Ты лишишь, навсегда лишишь покровительства вѣчныхъ законовъ. Да и никакихъ законовъ нѣтъ даже. Сегодня ты царь, завтра—рабъ, сегодня ты Богъ, завтра—червякъ, и червякъ раздавленный; сегодня ты первый, завтра—последній. И раздавленный тобою сегодня червякъ—завтра будетъ богомъ, твоимъ богомъ. Всѣ дѣленія и скалы, по которымъ отпаивались люди, стерты навсегда, и нѣтъ увѣренности, что однажды занятое тобой мѣсто останется за тобою. И вѣдь знали это всѣ философы, знали и Ницше, по опыту знали. Онъ былъ другомъ, союзникомъ и сотрудникомъ великаго Вагнера, провозвѣстникомъ новой эры на землѣ—и онъ же потомъ валялся въ прахѣ, разбитый и раздавленный. И второй разъ съ намъ про-

изошло то же. Послѣ Заратустры онъ впалъ въ безуміе, точнѣе, обратился въ полундіота. Правда, тайна второго паденія унесена имъ съ собою въ могилу. Но кой-что всетаки дошло до насъ, какъ ни скрывала его сестра отъ постороннихъ глазъ постигнувъ его метаморфозу. И вотъ мы спрашиваемъ: неужели въ рангѣ, въ грамотѣ, въ Adelsbrief сущность жизни? И развѣ можно понимать въ буквальный смыслъ слова Христа о первыхъ и послѣднихъ? Не есть ли всѣ сннедріоны, поставленные надъ человекомъ и яко бы осмысливающіе его жизнь, только фанциі—крайне полезныя и даже необходимы въ извѣстные моменты жизни, но столь же вредныя, даже опасныя, чтобъ не свазать больше, при измѣнившихся обстоятельствахъ? Не начинается ли жизнь, самая настоящая, желанная жизнь, та, которую тысячелѣтія отыскиваютъ люди, тамъ, гдѣ нѣтъ первыхъ и послѣднихъ, праведниковъ и грѣшниковъ, гениевъ и бездарностей? Не есть ли погоня за признаніемъ, за превосходствомъ, за грамотами и хартіями, за рангами то, что иѣшаетъ видѣть человеку жизнь съ ея скрытыми чудесами? И точно ли нужно человеку искать защиты въ декартовыхъ герольдіи, или есть у него иная, неистребимая временемъ сила? Можно быть добрымъ, уинымъ, ученымъ, даровитымъ, даже гениальнымъ человекомъ, но требовать себѣ какихъ бы то ни было привилегій за это—значить предавать и доброту, и умъ, и даръ, и тѣніи, и величайшія надежды человечества. Послѣдніе здѣсь не будутъ нигдѣ первыми...

А. Шестовъ.